

200 лет назад, в сентябре 1818 года, великий русский поэт Александр Сергеевич Грибоедов во время поездки на Кавказ в должности секретаря при царском поверенном в делах в Персии сделал короткую остановку в Воронеже. Причиной задержки молодого дипломата послужила поломка дорожного экипажа.

В Воронеже сентябрь, ранняя осень — удивительное для нашего города время года. Уже не жарко и пока не холодно. Горожане спешат по своим делам в легких курточках нараспашку. Все вокруг дышит умиротворением и надеждами. Желтая листва если и встречается на тротуарах и у обочин дорог, то в весьма скучных количествах. Кажется, эта яркая солнечная благодать никогда не кончится.

Тончайшая, необъяснимо легкая грусть этих мгновений располагает к раздумьям. Хочется оставить мирскую суету и хотя бы на малую песчинку приблизить себя к пониманию, кто ты здесь, в этом дне, в этом месте, среди знакомых тротуарных дорожек из плитки, в тени лип и кленов. Рядом в сквере, в нескольких десятках метров от тебя, памятник Петру I. Император, чей профиль легко угадывается за кучерявой листвой с едва уловимыми желтоватыми прожилками, будто следит величавым царственным оком за тобой, за прохожими. Вернее, это он так приглядывает за городом, в котором самолично строил и спускал на воду военные корабли, дабы отбить у турок

выход к Черному морю. И от этого горожанам с царем-памятником чуть спокойней.

В такие сентябрьские мгновения душа сама тянется обнять каждую неброскую деталь пейзажа. И кружашую в вышине птицу, чуть не задевающую крылом купола Благовещенского собора. И стрелки часов на башне ЮВЖД, отсчитывающие минуты человеческого бытия и целые эпохи в судьбе города. И монументальную незыблемость, аккуратность кирпичной кладки в небольших старинных постройках, разбросанных то тут, то там по холмистой окрестности в окружении безликих и вычурных новостроек.

Неторопливо спускаюсь от Петровского сквера к Чернавскому мосту. Чем ближе к руслу бывшей реки, нынешнему водохранилищу, тем волнительней на душе. К мосту у меня отношение трепетное, как к священному сооружению. Для меня он — живое существо, а хранилища его виртуальной памяти бесценны для потомков.

Построили мост в 80-х годах XVIII века, в те самые времена, когда императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России. Около моста располагался Чернавский рынок. Улица Степана Разина называлась тогда Чернавским съездом. Нижнюю часть ее народ величал Попово-Рыночной по имени тамошнего базара — Попова рынка, который размещался примерно в том месте, где в наше время пересекаются улицы Большая Манежная, Цюрупы и Сакко и Ванцетти. На тогдашней Попово-Рыночной улице селились богатые воронежские торговцы. Они воздвигли себе крупные особняки из кирпича.

Да, мост давно не деревянный, его старомодный каftан потомки не единожды меняли на более респектабельные сюртуки. В послевоенную эпоху для героического моста, сильно пострадавшего и почти полностью разрушенного в жестоких сражениях за Воронеж с немецко-фашистскими войсками в 1942–1943 годах, отлили одежду из прочного железобетона. В постсоветскую бытность он принарядился в новый, сваренный по последней моде стальной костюм с замысловатыми опорами, растяжками и прочими атрибутами сложного инженерного и архитектурно-композиционного сооружения в контексте современного городского ландшафта. Но родовой символизм Чернавского от смены «верхней одежды» не прерывается. Мост помнит сотни, тысячи событий — незначащих и грандиозных, радостных и трагических, веселых и горьких. В его перилах, ограждениях и пролетах промелькнули тени простых горожан и сановных персон, царей и губернаторов, рядовых и генералов, писателей и художников, ссыльных и вольнонаемных. Как мудрый старец — вечный хранитель некоего родового начала, соединяет он берега Воронежа, оставаясь неизменным символом духовной и нравственной целостности города.

Приближаясь к Чернавскому мосту, медленно, шаг за шагом, будто бы погружаясь в невидимые слои некогда живого, колготливого городского пятака, с которого начинался путь либо на гору в город, либо в заречную сторону из города — к Придаче и далее уже в степь, к Битигу, Дону. Другого места переправы просто не было.

Многое навевает мост, и от этого хорошо и заманчиво. Я понимаю, что это, конечно же, проделки нынешнего сентября, солнечного волшебника, который, не спрашивая, взял и перепутал все внутри меня, сместил время и события, крупный план и детали, ощущения и разум, окутав тело, думы и чувства плотным золотисто-бирюзовым маревом, исходящим от водяной ряби водохранилища.

Двести лет назад, в сентябре 1818 года, по Чернавскому мосту проезжал Александр Сергеевич Грибоедов, случайный воронежский гость, заночевавший у нас по причине поломки брички. Наверняка мост помнит торопливый гул экипажа сановного путника и молодецкое поскрипыванье обновленных, починенных мастеровитой рукой колесных пар. Под их бойкий и ритмически слаженный аккомпанемент молодого дипломата увозила в чужую, далекую Персию сама судьба, будто подсказывая мосту, кто едет, куда, зачем и кем незнакомец воротится назад.

Не могу судить, каким был в тот год сентябрь. Возможно, таким же солнечным и

теплым, как в минуты моей прогулки вниз по улице Степана Разина, а, может, наоборот, ветреным и дождливым. Тем не менее, оба этих сентября на коротком уличном отрезке соединились во мне, взвихрились, рождая невероятные ассоциации, образы и картины в судьбе этого гениального соотечественника.

Вот ведь как получается. Житейская случайность в послужном списке поэта Грибоедова обернулась логической закономерностью многих важных событий в его биографии. Не откажись Александр Сергеевич в 1818 году от места чиновника русской миссии в США, не было бы и поездки дипломата через Воронеж на Кавказ. И не случилось бы поломки брички. И не ночевал бы А.С. Грибоедов в нашем городе. Не писал бы, наконец, отсюда письмо своему другу Семену Никитичу Бегичеву в столицу. И не было бы повода ни у меня, ни у моих земляков гордится причастностью этого великого сына России к истории нашей малой родины.

События с карьерными парадоксами А.С. Грибоедова в том году развивались стремительно. Сразу за отказом от службы в Америке последовало назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. К месту службы поэт, не мешкая, отправился в конце августа. Как он сам признавался в письмах с дороги, по пути на Кавказ он совершил короткие остановки в Новгороде, Москве, Туле и Воронеже. Далее путь начинающего дипломата лежал по донской казачьей стороне и кавказским предгорьям...

В десятках метров от Чернавского моста меня охватывает странное чувство беспокойства, оно несет меня за горизонты реального, в мир воображения. Времени будто бы не существует, его границы размыты потоком фантазии. Кажется, здесь уже не наш сентябрь, а тот, из прошлого, и я ступаю не по ровненькой тротуарной плитке, а по не мощеной еще мостовой Чернавского съезда. Почти рядом, в нескольких десятках шагов, экипаж. Чувствуется, не местный, скорей, из столицы. Из него с озабоченным выражением лица выходит молодой барин в очках, о чем-то напряженно размышляя.

Боже, так это есть Грибоедов!

«Беда, барин, — вроде бы доносятся до моего уха слова извозчика. — Нонеча с починкой никак не управятся. На завтра-ть обещаются починить».

«Нехороший знак, — раздраженно думает Александр Сергеевич. — До Персии вон сколько верст, а родная земля уже не отпускает! Теперь вот, сударь, будь добр, научи себя здесь».

В гостевом доме поэт первым делом берется за письмо к Семену Бегичеву: обещал при первой же возможности сообщить другу о себе. И такая возможность появилась в Воронеже.

«Прощай, мой милый, любезный друг; я уже от тебя за 1200 верст, скоро еще дальше буду; здесь, однако, пробудем два дни, ближе не берутся починить наших бричек» (Здесь и ниже ссылки на письмо Бегичеву С.Н., 18 сентября 1818 года. — Прим. авт.).

Грибоедов никак еще не остынет от недавних столичных встреч и разгоряченных бесед...

«В Москве все не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему...»

Он мысленно продолжает неоконченный спор — на что годен. И это его состояние понятно: дипломату всего 23 года, его сердце пылко и горделиво, оно жаждет побед и признания, душа рвется к карьерным высотам и творческим вершинам...

«Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец, становится к чему-то годен, определен в миссию, и может со временем попасть в статские советники, а *больше во мне ничего видеть не хотят*. В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю что стою; но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели».

Особо занимают думы о литературе...

«В Москве совсем другое: спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными...»

Строчки из воронежского письма, будто сами бегущие по бумаге, торопят поделиться чувствами еще вчерашними, отнюдь не сиюминутными и уж тем паче не завтрашними, хотя поэт буквально пропитан дорожными думами о своей комедии «Горе от ума». Но в письме из Воронежа об этом ни слова.

О задумках Грибоедова создать сатирическую комедию нравов С.Н. Бегичев знал изначально. По его признанию, уже в 1816 году поэт написал несколько сцен пьесы и читал их друзьям. К сожалению, первоначальные наброски не сохранились. План произведения в целом был схож с позднейшей редакцией, однако истинная роль Чацкого автору долго не была ясна до конца, Репетилов вообще в действующих лицах не значился, присутствовало также несколько иных персонажей, например, жена Фамусова, однако впоследствии они были исключены поэтом из текста комедии...

Александр Сергеевич, отставляя в сторону перо и бумагу, обращается к рукописи своей недописанной пьесы, еще и еще раз прочитывает сюжет в надежде выявить изъяны либо нестыковки. Более всего по-прежнему волнует главный герой, Чацкий. По задумке Грибоедова, это молодой современник, дерзновенный юноша с благородными и чистыми помыслами, но высший свет категорически не понимает его и не принимает.

Налицо вечная драма — конфликт детей и отцов, обращающийся под пером поэта в комедию нравов...

И, конечно же, первые проблески досель неведомого обществу явления — лишние люди...

Еще не выписан, как хочется, его любимец Чацкий, и пушкинский Онегин только в замыслах, а лермонтовского Печорина вообще в помине нет. Но Грибоедов уже слышит шаги нового поколения, в нем все напористей, громче звучит его голос. Это неизвестное племя рождается как бы из спор большого общества, из его замшелой морали и нравственности. Культ знания, внутренняя свобода и раскованность в поведении, критический, порой до циничности, взгляд на окружающий мир, на устои предков отличают это поколение от предыдущих; и закосневшее в предрассудках и стремлении к личному благополучию старое общество, страшась перемен, отторгает его, делая изгоем всякого молодого нигилиста, осмелившегося посягнуть на святое:

Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам Бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным, —
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослынет у них мечтателем! Опасным...



Александр Сергеевич Грибоедов

Грибоедов хотел было написать Бегичеву о своих мыслях, но, заложник дорожной поломки, можно сказать, невольный воронежский пленник, он крайне раздосадован дорожными неурядицами, с трудом сдерживает себя, какие тут откровения. Да и не время пока. Новые грани и повороты будущей комедии в минуты воронежских раздумий еще туманны, как приречная пелена за окном гостиничного двора.

Александру Сергеевичу понятно пока одно: это будет не просто веселая, легонькая, как бы для развлечения публики вещица, где беспечно мурлычат про обыденные дела-заботы причудливые персонажи. Это будет жар, вулканическое пламя из недр его собственного сердца. Это будет портрет нового человека. Пускай в чем-то и автопортрет. Но разве возбраняется художнику списывать героя с себя? Чураться, стесняться нечего. Это ведь не образец бессловесного, рабского, как фонвизинский недоросль Митрофанушка и его прототип, которого Грибоедов уже окрестил в своих первых набросках характерной фамилией Молчалин, а изваяние образованного, честного, бескорыстного и потому раздражающего и вызывающего угрозу устоявшемуся порядку современника.

Грибоедов с горечью улыбается и, гримасничая, будто изображая кого-то из ближайшего окружения, ироничным шепотом читает строчки из своего незавершенного произведения, обращенные устами Фамусова к Скалозубу:

...Вот-с — Чацкого, мне друга,
Андрея Ильича покойного сыновок:
Не служит, то есть в том он пользы не находит,
Но захоти — так был бы деловой.
Жаль, очень жаль, он малый с головой,
И славно пишет, переводит.
Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...

Александр Сергеевич в очередной раз, как и там, в Петербурге, с удивлением ловит себя на мысли, что по неведомой странности невольно обращается к комедии Фонвизина «Недоросль», будто бы сверяет плод своего творения с уже утвердившимся в русской литературе образцом для подражания. Его всегда восхищало мастерство Фонвизина, с каким тот выписал своих персонажей, особенно главного героя Митрофанушку. Браво, Денис Иванович! Блестящий пассаж для потомков и филигранная лепка типажа в образе молодого лентяя, транжира отцовского богатства, чья жизненная энергия и философия существования заключена в примитивную формулу: не хочу учиться, хочу жениться.

Грибоедова и самого давно раздражает способность реальных Митрофанушек и Молчалиных приспособливаться к внешним обстоятельствам, дабы извлечь корыстную для себя выгоду. Это они в большинстве своем и подвигли Александра Сергеевича взяться за перо. Ими давно переполнен столичный высший свет. Подобные типы, приветствуемые избранным обществом за их покорность, готовность терпеть любое унижение и неприкрыто льстить всякому, кто над ними имеет власть, занимают в обществе законное место умных, образованных граждан и лишают их возможности утвердиться и оказывать положительное влияние на ход событий...

Александр Сергеевич пожимает плечами, выдыхая:

Недаром жалуют их... государи.

И следом едко, будто констатирует очевидный факт:

А впрочем, он дойдет до степеней известных,
Ведь нынче любят бессловесных.

Последние месяцы поэт буквально физически чувствует омерзительную брезгливость ко многим, с кем сводят его житейские и карьерные обстоятельства: к брюзжающим в годах сановникам и их чопорным женам, к избалованным барчукам и барышницам.

ням — недоученным, тупеньким и лишенным малейшего внутреннего желания об разовываться. Их глупость сознательно поощряется, им создают условия для оной, дабы те жили по известной формуле отцов, которую поэт выразил в рукописи пре дельно емко:

Не надоно иного образца,
Когда в глазах пример отца...

Грибоедов еще не явно, но уже интуитивно понимает, что его попытка написать сатирическую комедию возлагает на него особой тяжести груз: вслед за автором «Недоросля» вынести приговор неспособному к совершенствованию обществу. В своих творческих оглядках на старшего коллегу он не подражает, не повторяется, а развивает, углубляет тему, как бы подсказывая дорогу к нравственному очищению общества через образ Чацкого, чьи страстные саркастические монологи звучат как вызов существующим нравам и чьими устами, кажется, глаголет новая истина:

И точно, начал свет глупеть...
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.
Прямой был век покорности и страха,
Все под лициною усердия к царю.

Грибоедов готовит себя к тому, чтобы противостоять этой мощной феодально наследной порочности. Ее апологетом и идеяным радетелем в пьесе выступает управляющий в казенном месте Павел Афанасьевич Фамусов. Александр Сергеевич все рез рассчитывает при помоши комедии донести до думающих граждан Отечества мысль: фамусовская система ценностей порочна, губительна, она лишает перспектив будущие поколения и государство. Для многих именитых дворянских семейств кумовство, лесть, раболепство и цинизм притупили страх перед Богом, те бесстыдно устроили неприкрытый торг ближними, родственниками, человеческой совестью в корыстном достижении личного благополучия:

Что по отцу и сыну честь:
Будь плохенький, да если наберется
Душ тысячек две родовых, —
Тот и жених.
Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в семью не включат.

Уже через несколько лет, по выходе пьесы, откровения Фамусова упадут в наэлектролизованную и раздраженную столичную атмосферу, до крайности напитанную новомодными якобинскими идеями и, словно молния, взорвут ее, доставив автору многие неприятности. Но еще более общество всколыхнут монологи Чацкого. Молодые прогрессисты узнают в главном герое себя, представители высшего света вздрогнут от авторской наглости: это что себе позволяет сочинитель, откуда взял такого опасного выскочка Чацкого, с какой целью выдумал?! Уж не тащит ли всякую мерзость с чужеземья?

Действительно, А.С. Грибоедов, человек с блестящим европейским образованием, увлеченный, как и многие его современники, модной в России первой трети XIX века французской философией и литературой, страстно тянеться к передовым западным идеям и творчеству зарубежных авторов. В их произведениях он находит созвучные, родственные мотивы, близкие ему по духу и смыслу.

В 1823–1824 годах, когда с позволения генерала Ермолова отпускник Грибоедов надолго задержится в Петербурге, поэт заново будет восстанавливать в памяти атмосферу высшего света, от которой отвык за долгие месяцы службы в Персии, и горячо, жадно станет писать по свежим впечатлениям все новые и новые сцены комедии «Горе от ума». Друзьям и знакомым, не таясь, признается, что замыслил создать нечто подобное пьесе Мольера «Мизантроп», в которой главный герой Альвест, как и его Чацкий, представляет собой «злого умника», яростно обличающего пороки общества.

Весной 1824 года, продолжая находиться в отпуске, вместе с семьей Бегичева Александр Сергеевич отправится в имение Дмитриевское (Лакотцы) Тульской губернии Ефремовского уезда и там продолжит работу над пьесой, чтобы уже летом по возвращении в столицу обнародовать ее.

Петербург встретит комедию «Горе от ума» восторженно. Москва увидит в пьесе пасквиль на известных лиц империи. Разразится скандал, последуют доносы, будто бы комедия колеблет устои, оскорбляет дворянское сословие в целом. Хлопоты автора поставить пьесу будут обречены на провал...

Грибоедов встает из-за гостиничного стола и с язвительной дерзостью читает:

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодущие, рассудка нищету...

«А что, — думает поэт, — поразительно точные портреты поколения. Дай Бог, не на один мой век хватило бы! На фоне ближнего окружения Фамусова мой Чацкий душенька! Отечеству теперь нужен иной литературный герой, свободный от пут классицизма, от его условностей и искусственных загородок. Умный. Дерзкий. Готовый принять вызов».

Александр Сергеевич почти с мальчишеской беспечностью, совсем забыв, что находится в незнакомом городе и чужой гостинице, громко декламирует:

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь...

Затем спохватывается, что отвлекся от письма Бегичеву, вновь берется за перо и бумагу. Ему буквальным образом не терпится рассказать, какие мысли только что осенили его, но снова колеблется. Нет, нет, пожалуй, не сейчас! Пока он весь на нервах от глупой, неуместной поломки в этом странновато-мрачном городе по имени Воронеж, за одноименной рекой которого, на другом, пологом, берегу клубится даль, полная тайн, непредвиденных ожиданий и волнений, взросления и стойкости...

Жаждущий жизненных и карьерных впечатлений, Грибоедов торопится в свою Персию — послужить Отечеству...

* * *

Справа от Чернавского моста взираюсь на холм, долго всматриваюсь в туманную даль левобережья. Там — степь, извечный равнинный путь с русского севера на юг — к Кавказским горам и Черному морю. Всматриваюсь, а сам будто жду чуда: не мелькнет ли в зыбком клубящемся пространстве между небесной синью и облаками тот самый после починки экипаж, который вот уже два столетия мчит и мчит Александра Сергеевича Грибоедова к месту службы, к месту гибели и к месту своего бессмертия.

И ничего, что его поездка в Персию в 1818 году была не совсем благополучной, а в письмах с дороги он не единожды рассказывал об этом своим адресатам. Например, в письме от 12 октября 1818 года из Моздока к русскому медику и дипломату, с 1818-го по 1826 год возглавлявшему русскую миссию в Тегеране, С.И. Мазаровичу поэт писал:

«Как только будем вместе, расскажу вам простирая о всех дорожных наших бедствиях: об экипажах, сто раз ломавшихся, сто раз починяемых, о долгих стоянках, всем этим вынужденных, и об огромных расходах, которые довели нас до крайности...»

Для меня в эти сентябрьские мгновенья не менее важно, о чем думалось дипломату и поэту и после устранения поломки, когда и Воронеж, слава Богу, был позади, и тихие, кроткие речушки со знаменитыми сосновыми рощами, покорившими в свое время Петра I необычайной стройностью и пригодностью для строительства военных кораблей. Мысленно представляю, как Грибоедов переправляется через реку Дон, чьи стремительные воды отделяют край воронежского Черноземья от земель Области Войска Донского, и лихо катит в экипаже по степным трактам от одной казачьей станицы к другой. Уже и первые кавказские предгорья остаются позади. Еще рывок — и будет он в Ставрополе, а там Моздок, Владикавказ, Тифлис...

Впереди Персия!

Почему-то верится, что по прибытии к месту назначения Грибоедов наверняка вспомнил в устных рассказах сослуживцам про воронежскую поломку, чем забавляя себя в томительном ожидании починки. Может, даже поведал о мыслях, посетивших его в этом городе, про дальнейшую работу над комедией «Горе от ума».

Как дорожная пыль за экипажем, развеется недавняя горечь в душе, не оставив следа от неприятных дорожных приключений. Россия велика как держава, чего только ни случается в беспредельных землях ее. Все это мелочи в предвкушении службы, в сравнении с тем, что реально ждут от него в Петербурге, направив секретарем при царском поверенном в делах в Персии.

От воображаемых мной признаний поэта становится светло на душе. Главное ведь давным-давно произошло: частичка его души навечно осталась здесь, в старинных улочках города на спуске к реке, в суетливо-рабочем гуле Чернавского моста, в пойменной дымке у реки, в непоседливом эхе дней на холмах крутого Правого берега.

Грибоедов для меня — прежде всего гениальный русский поэт, определивший на века литературную традицию Отечества, а потом уже блестящий русский дипломат. Его комедия «Горе от ума» до сих пор будоражит ум, поражает правдивостью и актуальностью. Нет, это даже не комедия, это мифология, почти библейская калька человеческих типажей и страстей, не меняющаяся во времени.

Один сентябрь сменяется другим. Вереница лет кружит листопадами над памятью, а мысли все те же и все о том же.

Вот и теперь, когда я стою на холме и под бодрящий осенний ветерок будто прикасаюсь к чуду, обнаруживая в нем самого себя, лики родного города с его стариной, легендами и тайнами, меня, взглядывающегося в серебристую даль левобережья, с мальчишеской нетерпеливостью тянет обратиться к самому поэту: «Милостивый государь, любезный вы наш Александр Сергеевич! Зачем, зачем вы от избытка жизненных и духовных страстей, совсем не жалея себя, вывели эту горькую на все времена формулу: горе от ума? Без малого двести лет с вашей легкой руки человек пребывает в состоянии войны с умом и заигрывания с горем.

Возможно, было это не только в Отечестве нашем, возможно, повсюду и всегда, даже и до Рождества Христова, но именно с вашего сочинения из глухих, скрытых от постороннего глаза покоев человеческой души вырвалась на улицу неприятнейшая забава: прилюдно потешаться над умом и бессовестно тупить, приветствуя глупость. Денег, положения у многих сегодня, как у Фамусова, а приглядышся: кому завтра передадим ум, если кругом горемыки — в своей невежественности, душевной лени, интеллектуальном бесплодии и безразличии «к отеческим гробам»?

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоты никто не знал и не учился?

Горе от ума давно уже хроническая болезнь общества. Рецептов излечения по-прежнему нет, как нет и единого понимания главного генератора недуга — вашего Чацкого.

Как же по-женски проницательна была Софья Павловна, бросив однажды Чацкому в укор:

...грозный взгляд, и резкий тон,
И этих в вас особенностей бездна...

Нет, нет, милостивый государь, это не Чацкому, отчаявшись, бедная женщина говорит, а вам. Вы — Чацкий, признавайтесь!

Что гений для иных, а для иных чума...

Зачем говорит она это? С какой целью судьба уготовила вам трагический путь дипломата и поэта? Был ли в том высший смысл или это всего лишь стеченье случайных обстоятельств и событий, в ряду которых стоит наш Воронеж? Почему в одном сердце, в одной человеческой душе легко вместились «особенностей бездна»: сразу две судьбы и два жизненно опасных выбора — быть дипломатом и поэтом, служить Отечеству и вечности?

Зачем с какой-то упрямой настойчивостью всплывают в моем воображении недавние исторические параллели?

...В декабре 2016 года в Анкаре вызывающе нагло, на глазах у посетителей выставки был застрелен террористом-смертником дипломат Андрей Геннадьевич Карлов.

...В феврале 2017 года в Нью-Йорке безвременно скончался Постпред России при Совбезе ООН, настоящий боец по характеру Виталий Иванович Чуркин. Дипломата настигла не пистолетная пуля фундаменталиста, его методично — до сердечного приступа — уничтожал коварный и циничный гибридный «боекомплект» современной западной демократии, поднаторевшей в борьбе с упретыми и слишком самостоятельными. Казалось бы, ради чего было рвать сердце, упрямствовать; трудись себе в пол силы, живи без душевного напряга, с комфортом и уютом для семьи, как это делали представители фамусовского общества. А Чуркин выбирает другой путь — путь чести и преданности Отечеству. Впрочем, как ранее и вы. Вы ведь тоже тогда под угро-зой личной смертельной опасности выбрали свой путь перед Богом и Отечеством: укрывали в русском посольстве православных армянских женщин от преследования исламских фундаменталистов, чего они вам не простили.

Не для них ли, своих будущих коллег-дипломатов, исходя из личного опыта, написали:

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен?..

Не довелось ни Карлову, ни Чуркину на прощанье вдохнуть полной грудью кристально-чистого, морозно-звенящего воздуха Родины. Так и ушли от нас: один — на выдохе, на полуслове в искусственной кондиционерной прохладе турецкой столицы, другой — с глотком горьковато-давящей нью-йоркской атмосферы, настоящей на гари и копоти большой цивилизации.

Дипломатов оплакивают — я же весь мыслями с Грибоедовым...

Как же тут вслед за вами, любезный Александр Сергеевич, не вскричать:

Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,
Не пожелал бы я и личному врагу...

В минуты таких раздумий ничего более верного не находится, как снять с книжной полки томик с вашим «Горем от ума»:

Ужасный век! Не знаешь, что начать...»

Жаль, что мы не можем сегодня детально судить, насколько серьезна и небезопасна была в долгом кавказском путешествии воронежская поломка бричек Грибоедова.

Таких сведений нет, в письме к С.Н. Бегичеву поэт об этом подробно не сообщает. Хотя мы понимаем, дело совсем не в поломке и даже не во впечатлении от нашего города в том двухвековой давности сентябре. Вспоминая поэта и дипломата, мы вольно или невольно, хотели бы этого или нет, переключаемся на его литературного двойника — Чацкого. Именно он — возмутитель нашей тревоги и источник нашего беспокойства, причина нескончаемых дискуссий в обществе.

Конечно же, это счастье для города, что в его историю на глобальном по историческим и литературным масштабам фоне вписана строка из грибоедовской биографии: «...здесь, однако, пробудем два дня». Не случись тогда дорожной коллизии, прокочил бы важный столичный чиновник черноземную столицу по касательной, только пыль столбом стояла бы...

Правда, спустя восемь лет, в 1826 году, Александр Сергеевич вновь будет проезжать через наш город на Кавказ. Даже проведет в нем несколько спокойных дней в обществе своего родственника и сослуживца по Кавказу Паскевича. Светлейший князь Варшавский, граф Иван Федорович Паскевич, русский полководец, государственный деятель и дипломат, в 1817 году женился на сестре А.С. Грибоедова. Вскоре после воцарения Николая I «князь Варшавский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не имел себе равного». В 1826 году был назначен генерал-адъютантом и направлен на Кавказ «содействовать» А.П. Ермолову, которому царь не очень доверял в связи с делом декабристов, а последним, надо сказать, симпатизировал Грибоедов.

Вот как описывает эпизод очередной поездки поэта и дипломата на Кавказ Д.А. Смирнов в своей книге «Рассказы об А.С. Грибоедове», записанные со слов его друзей: «Грибоедов высыпал 4 месяца, пока тянулось следствие. Он был оправдан, и государь призвал его к себе и сказал ему: «Я был уверен, Грибоедов, что ты не замешан в этом деле. Но если тебя взяли наравне с другими, это была необходимая мера. Отправляйся к месту своей службы. Жалую тебя надворным советником и даю для проезда двойные прогоны». Милость государя была чувствительна для Грибоедова. Он попросил у царя лист о пожаловании его чином и выдаче двойных прогонов. Государь не отказал в этой просьбе. Где этот лист, куда он девался, неизвестно. Грибоедов отправился к своему посту вместе с Паскевичем, который был послан наблюдать, а впоследствии и сменить знаменитого Ермолова. Обстоятельства случайно поставили Грибоедова между ними. Связанный с Паскевичем узами родства, он был связан с Ермоловым узами дружбы. Зная скрытую цель поездки Паскевича, Грибоедов по врожденному чувству деликатности не желал, по крайней мере, приехать к Ермолову вместе с Паскевичем. Для этого он отправился в деревню к Бегичеву, предварительно сказавши Паскевичу, что догонит его в Воронеже. Грибоедов был твердо уверен, что Паскевич не дождется его, однако тот дождался».

Как видим, второе посещение Воронежа А.С. Грибоедовым проходило в иной эмоциональной и политической атмосфере. Вместо молодого порыва, душевного подъема — усталость, вместо романтических ожиданий — разочарование и горечь. Это был последний визит поэта в наш город.

А в 1829 году через Воронеж в Петербург проезжала свита высокопоставленного персидского миризы, чтобы выразить сожаление по случаю трагической гибели А.С. Грибоедова.

Символично, не правда ли?

* * *

Взирать на родной город в раннем сентябре с холма — редкое удовольствие. Полупрозрачная, приглушенная осенняя дымка стушевывает детали, размыивает черты, контуры, выпуклости, и город будто бы целиком вмещается в тебя — со своим настоящим и прошлым. Ты не видишь конкретных предметов, лиц, ты просто ощущаешь

их на уровне подсознания, воображения, интуиции. Ты даже не удивляешься, что в это же мгновение наряду с контурами городского бытия, безымянных человеческих лиц в твоих ощущениях вполне естественным, реалистичным образом присутствует и А.С. Грибоедов вместе со своими персонажами. Будто и не было двух столетий, которые отделяют нас от времени посещения поэтом нашего города и написания им комедии «Горе от ума», будто бы ничего не поменялось за эти долгие годы в человеческом обществе. Кажется, спустись сейчас с холма, пройдись по центральным улицам, и тебе среди десятков, сотен лиц, знакомых и незнакомых, обязательно встретится грибоедовское «народонаселение». И перво-наперво среди оного — Чацкий. А то, глядишь, и у самого в груди сожмется от нечаянно обнаруженного внутреннего сходства, словно бы в тебя уже давно переместился этот немеркнувший герой «всех времен и народов». И ты начинаешь явственно понимать, что два столетия, конечно, достаточный срок, чтобы иного автора, даже некогда очень знаменитого, забыть и про его произведения вообще не вспоминать, однако с Грибоедовым этого не случится. По крайне мере, в наше время точно! И причиной всему опять же Чацкий.

Понятно, что автор списывал его с себя. Связывал с ним надежды на перемены в обществе, на рождение идеального человека. Однако его ожидания и чаяния не оправдались. Сам того не желая, поэт выпустил джина из бутылки — и ни одна последующая эпоха не смогла отправить его обратно в этот сосуд.

Пока жив русский человек, Чацкий, наверное, всегда будет среди нас, восхищая и раздражая, вызывая сочувствие или ненависть в зависимости от того, с кем в данное время, эпоху находится рядом этот персонаж. Он — наш ум и наше горе, он — двойник каждого из нас, наша вариативная социокопия на случай очередной мутации в переменчивом мире.

О Фамусове, его дочери Софье, Молчалине, Репетилове, Скалозубе, князе Тугууховском с княгиней и шестью дочерьми, о Графине бабушке и Графине внучке Хрюминых, Загорецком и других персонажах комедии можно всерьез и пространно не рассуждать. Их историческая, психофизическая и социальная статичность не верифицируется во времени и пространстве, не вызывает вопросы, споры и противоречивые оценки. Эти персонажи, по сути своей, универсальная калька вечного неменяющегося большинства.

А вот Чацкий, как ни странно, беспокоит, не отпускает, притягивает, как магнит, который невольно таскаешь с собой изо дня в день на протяжении всей жизни. Возможно, это чувство живуче и от того, что мое поколение сформировано советским строем и его романтико-идеалистическими ценностями, а живем мы в жестоком капиталистическом мире, где меркантильная деловитость изъедает души современников корыстью и завистью, лишая возвышенного взгляда на все, что окружает. Зато это дает нам уникальный жизненный и отчасти цивилизационный опыт.

С одной стороны, мы по-прежнему в большинстве своем советские люди, которым официальное литературоведение внушало, что Чацкий — исключительно положительный образ, воплотивший в себе лучшие черты прогрессивной части русского общества первой трети XIX века, он одержим благородными идеями братства, равенства и свободы. С другой — мы живые свидетели нарождения новой, глобалистской действительности, с ее хищническим олигархическим оскалом, и духовно-нравственное, сущностное наполнение образа Чацкого дезавуирует советскую аргументацию, ставя многих в тупик. Действительно, кто он, грибоедовский герой для поколения «пепси», «айфонов», «бумеров» и рэп-батла? Клевый пацан, пример для подражания? Или Чацкий — всего лишь очередной исторический идеалист, жаждущий обеспечить гармоничное мироустройство на обличительных монологах без реального действия? Не о таких ли, как он, на Руси издревле молвили: говорун, пустомель, трепач, балабол?

Сегодня мир как бы вновь погрузился в атмосферу времен Грибоедова. Мы живем в окружении персонажей из комедии «Горе от ума», но уже в иной содержательно-

смысловой парадигме. Митрофанушки, софы павловны, молчалины, другие персонажи русской литературы являются носителями, если так можно выразиться, потенциально-олигархического инфанттилизма. Типажи, подобные Чацкому, наоборот, люди страсти и идеи; они образованы, пропитаны социальным скепсисом; они некие символы разночинного интеллектуально-эгоистического инфанттилизма, от которого, в свою очередь, в результате общественно-политических и социально-культурных трансформаций регулярно отпочковываются его разновидности.

Нет, наверное, другого персонажа в русской литературе XIX и XX веков, кто бы, как Чацкий, постоянно не мимикировал и не перевоплощался. Он угадывается повсюду: в пушкинском Онегине, в лермонтовском Печорине, в тургеневском Базарове, в Рахметове из романа Николая Чернышевского «Что делать», в пьесах Александра Островского, в горьковских боянях — искателях Бога и вечной истины, оказавшихся, в конечном итоге, на дне жизни.

Даже в брежневскую советскую эпоху Чацкий засвидетельствовал свое присутствие. Прежде всего, среди персонажей прозы Юрия Трифонова. Наиболее явно — в образе главного героя романа Виля Липатова «И это все о нем» Игоря Игоревича, интеллигента-хлюпика, кто и в свои сорок лет оставался маменькиным сынком, не способным на самостоятельный гражданинский поступок. А потом «погостили» у Сергея Довлатова и Вени Ерофеева. В постсоветское пространство Чацкий перекочевал вместе с героями Виктора Пелевина, Владимира Сорокина и других современных писателей.

В феномене социальной мимикии Чацкого заключается, пожалуй, самое неприятное предостережение потомкам. Со страниц художественных произведений этот герой почти сразу шагнул в реальную жизнь страны.

В годы русского царизма его обнаруживают среди анархистов, нечаевцев и революционеров. В советский период он мелькает в обществе эмигрантов, троцкистов, диссидентов. В годы развитого социализма замечается в кругу романтиков-пофигистов, блуждающих по тайге, тундре, горам и прочим географическим раздольям с гитарой наперевес и с рюкзаком за плечом и выражаяющих подобным образом протест на социальную и политическую неустроенность в государстве. В наши дни площадкой для его самореализации все чаще становятся театрально-концертные, эстрадные и фестивальные сообщества.

Интеллектуально-эгоистический инфанттилизм современного Чацкого — атом, заключенный в замкнутое пространство коллайдера. Под давлением определенных общественно-политических сил и обстоятельств он тут же начинает распадаться на другие элементарные частицы человеческой среды. На одного посмотришь — вылитый глобалист-либерал, на другого — явный консерватор-почвенник, на третьего — точь-в-точь портрет ярого националиста либо исламского фундаменталиста. В четвертом нет-нет да проглянет — в речах, во взгляде — подзабытое, но такое знакомое, почти родное лицо интернационалиста, будто наш герой из вчерашнего коммунистического далека никуда не исчезал. ...

Бог знает, какими еще физиономиями представлена портретная галерея Чацкого наших дней! Но, кем бы ни был литературный герой в ту или иную историческую минуту, каждый его прототип одержим идеей «перековать» человеческие сердца по образу и подобию своему, не ограничиваясь в приемах массового оболванивания.

Совокупность этих особенностей складывается почти в универсальную многовековую формулу общественного явления.

Ум Чацкого — горе для него самого.

Ум Чацкого — горе для фамусовых, молчалиных, репетиловых, скалозубов и прочих персонажей как исторической ретроспекции, так и наших дней.

Ум Чацкого — горе для всех последующих поколений...

Изрекать слова, обличать, иронизировать, высмеивать, ерничать совсем не значит создавать, строить, совершенствовать мир.

Поведенческий тип современных чацких — естественная модификация постмодернизма в политике, общественной и духовно-культурной жизни, в быту и морали.

Наконец, ум Чацкого — исторический диагноз личному инфантилизму автора, излечиться от которого Грибоедову чудесным образом помогло конкретное дело — дипломатическая миссия в Персии, героическое служение Отечеству, сопряженное с опасностью и необходимостью принимать мудрые государственные решения самостоятельно, исходя из ситуации. Выздоровлению (взрослению) способствовали даже такие вполне житейские пилюли путешественника, как частые поломки экипажей по дороге на Кавказ или задержки с лошадьми.

Желание скорейшего возмужания, освобождения от плотного родительского пригляда прослеживается в письмах поэта того периода явственно: «...мать и сестра так ко мне привязаны, что я был бы извергом, если бы не платил им такою же любовью: они точно не представляют себе иного утешения, как то, чтобы жить вместе со мною. Нет! я не буду эгоистом; до сих пор я был только сыном и братом по названию; возвращаясь из Персии, буду таковым на деле, стану жить для моего семейства, переведу их с собою в Петербург» (из письма Бегичеву С.Н., 18 сентября 1818 года).

Несомненно, Грибоедов совершил гражданский и литературный подвиг, подарив читателям своего Чацкого. И все-таки жаль, что даже сегодня, в век интернета и виртуальной реальности, в век колосальных коммуникативных возможностей, от присутствия таких персонажей, как Чацкий, веет холодом и одиночеством, и мы по-прежнему получаем неизменно горький результат в этой социально-психологической совокупности: горе от ума. Ум этих фигур от природы оригинален и контрапродуктивен, впечатляющ и бессмысленен, как яркий баннер на многолюдной городской улице. Чацкими восхищаются в элитарных клубах и салонах, но современные Фамусовы в дело их не берут, предпочитая им Молчалиных.

* * *

Ах, сентябрь, сентябрь! Взволновал, растревожил.

Стою на вершине холма и не спешу возвращаться в реальность. Губы, вопреки воле, шепчут, как молитву: «Милостивый государь, дорогой пинт и дипломат Александр Сергеевич! Несколько лет назад капитально отреставрировали объездную дорогу вокруг Воронежа. В вашу бытность южный тракт лежал только через город по Чернавскому мосту. Теперь же столичным путешественникам нет нужды толкаться в плотных городских пробках. Наверное, для едущих из Москвы и Петербурга к Черному морю и на Кавказ это счастье. Для горожан — невосполнимая потеря. Именитые соотечественники на суперсовременных транспортных средствах, а не на бричках, проносятся мимо со скоростью свиста. Ни следа от них, только шелест шин. Ни эсэмэски на память, ни электронного сообщения для местной истории. Про бумажные письма по почте вовсе помолчу. А случись, не дай Бог, поломка какая, так тут же, на трассе, служба аварийных комиссаров подхватит и отбуксирует к ближайшей автомастерской, которая также неподалеку, на дорожной обочине...

Однажды и мне довелось с ветерком промчаться по новехонькой окружной от Чертовицка до Рогачевки. Представляете, за каких-то полчаса, минуя Воронеж, его окрестности и знаменитый спуск к Чернавскому мосту...

А теперь, любезный Александр Сергеевич, представьте себе на минутку: помимо всяких знаменитостей по современной магистрали тянутся к югу десятки, сотни нынешних прототипов ваших героев. Например, Чацкий — на не самой дорогой, демократичной модели, скорее, седане. Как правило, либерал-западник, толерантнейшая на словах, разумеется, личность. В натуре же, получи власть, рука не дрогнет, чтобы огнем и железом по-необольшевистски выжечь из любого соотечественника патриотическую дурь.

Следом за ним по современной трассе М–4 «Дон» катит его двойник, антикопия с противоположным зарядом души — блюститель еще тех, «времен Очакова и покорения Крыма» домостроевских нравов: ему тоже дай волю, уж точно бы разобрался в собственном доме, как жить и выстраивать порядки внутри и вокруг.

За этими двумя педантично, на рекомендованной скорости проедут на популярных, отечественной сборки иномарках сотенка-другая Репетиловых, Скалозубов, Тугууховских, Хрюминых, Загорецких с женами, мужьями и чадами — эдакий офисно-фискальный планктон, покорно пашущий в столичных конторах.

Замыкают путешествующую кавалькаду потомки фонвизинских Простаковых и грибоедовских Фамусовых со светлым, на первый взгляд, и даже оптимистичным прозвищем — мажоры. Доучившиеся и недоучившиеся, по многу раз женившиеся Митрофанушки, любимые дочки Софьи Павловны с Молчалиными или без них. На дорогущих внедорожниках проносятся хозяевами жизни. Диковато для них, привыкли по заграницам на лайнерах, а тут санкции, папаши и мамаши опасаются за чад, вот и вынуждены к теплым краям за рулем на своих четырех колесах добираться... Да, да, любезный Александр Сергеевич, таковы они, современные недоросли, баловни судьбы, обладатели родительских кошельков. Зачем им Воронеж?! По окружной прямиком к заснеженным вершинам Кавказа и солнечным пляжам Сочи, Пицунды, Ялты, так сказать, на очередной в году отдых от столичного ничегонеделанья...

На чем, правда, «программивают» Фамусовы, даже затрудняюсь с фантазией...

Может, Александр Сергеевич, и хорошо, что все они мимо, мимо, мимо?

Мимо нашего города...

Мимо нашей провинциальной истории...

Все равно ведь никакого следа не оставят...

А горя от ума и без них хватает, впрочем, как и от отсутствия оного!»

